

Изображение газетной и публичной речи в советской литературе

НАТАЛЬЯ А. КОЖЕВНИКОВА
(Москва)

В русской литературе послереволюционного периода отразились самые разнообразные речевые жанры – лозунг, мандат, резолюция, удостоверение, справка, отчет, директива, статья, доклад и т.п. Все они передают официальную точку зрения на человека и событие.

Газетная и публичная речь как средоточие разнообразных штампов становится предметом изображения в послереволюционной русской литературе очень рано. *Окаянные дни* Бунина содержат многочисленные выдержки из советских газет: *светлое будущее, строители новой жизни, старый, насквозь прогнивший режим, мировой пожар, заветнейшие чаяния народа, белогвардейская сволочь, всем, всем, всем, мозолистые руки* и т.п. Эти и другие формулы находят отражение и в советской литературе.

Уже в начале 20-х гг. в поле зрения писателей попадают и отдельные газетные формулы и стиль газеты вообще. Газета рассматривается как монтаж готовых блоков. А. Архангельский дает советы молодым журналистам: “Взять Пуанкаре, Муссолини, Ллойд-Джорджа, изрубить мелко на 800-1000 строк плотного корпуса, затем взять и истолочь двух меньшевиков и трех эсеров. Все это хорошенько смешать и держать в портфеле дня три-четыре. Перед употреблением посыпать мировой революцией и подавать ежедневно по два столбца” (*Подарок молодым журналистам*).

В рассказе М. Козырева *Газета* приезжий из столицы фельетонист делает газету из уже напечатанных материалов:

“Он берет ножницы, вырезает передовицу:

- Вот вам и передовая...
- Второй раз!..
- Ну, так что же? Положим, если вы боитесь, можно немножко переделать. Тут у вас в конце абзац начинается: «Пусть знает международный капитал, что...» – мы его поставим в начало. А в конец – первый абзац: «Наши враги должны оставить мечты о торжестве...» А середина...
- Заметят! Что вы делаете?
- А кто же передовую читает?

На вторую страницу вклеили старую речь Молотова, на третью – отчет о каком-то съезде не то нынешнего, не то прошлого года, причем мой помощник ежеминутно уверял меня, что прошлогоднее всегда свежее”.

Один из персонажей литературы 20-30-х гг. – журналист. Газетные формулы, характерные для писаний персонажа-журналиста, даются в густой концентрации, обнажающей их бессодержательность:

“Редактор Сугробов написал в передовой: «Поскольку начинает пригревать весеннее солнце, способствующее победам красного оружия на всех фронтах, постольку в нас крепнет уверенность, что скоро пробьет двенадцатый час для всей мировой клики капиталистов, помещиков и белобандитов»; «...получалась статья, расточавшая такие громы и молнии по адресу мировой буржуазии и поливавшая такими ядами ее обнаглевших прихвостней, что становилось жутко и даже немного жалко и буржуазию и прихвостней. Редко можно было встретить в этих передовых приветливое или праздничное слово, а вот на всевозможные мести Сугробов не скупился, – это был его конек. Священная месть эксплуататорам, кровавая месть насильникам и интервентам, беспощадная месть кровопийцам и многие другие, гремя и шипя, извергались из-под его пера»” (И. Катаев, *Поэт*).

Писания журналиста в большей или меньшей степени искажают реальность:

“Лузгин репортеров ругал. Он пытался внушить им, что надо ясно и просто, без захлебывания и без паники писать о работе завода. Репортеры соглашались, но делали по-своему. Они сегодня восторженно сообщали: «Завод блестяще идет к ликвидации прорыва», а назавтра били в набат: «Сигнал тревоги. Завод не выполняет мартовских показателей. Недостаток плановости является решающим фактором в прорыве на заводе». И то и другое было одинаково преувеличено” (К. Паустовский, *Московское лето*).

В повести О. Берггольц *Журналисты* циник Колымаго рассуждает о роли газеты и ее особенностях:

- Что, в самом деле вредительство, – небрежно прошамкал Колымаго, – или так просто?
- А как ты думаешь, – грубо спросила Тоня, – можно писать «вредительство», если его нет на самом деле?

– ...Мы журналисты, милочка. Из любого факта можно сделать вредительство, когда этого требуют интересы газеты.

– Ну, это что-то... Желтенькое, дорогой товарищ... это уж вы при себе оставьте, а я буду говорить в газете правду.

– Правда в газете – понятие относительное. Особенно в переходный период”.

Журналист и в быту пользуется газетными мотивировками; в результате этого истинный смысл события утрачивается:

“К исчезновению соседки он не имел никакого отношения. Совесть его была чиста. Если она и наложила на себя руки, то при чем тут он? Был он с нею мил, обходителен, даже на подарок разорился. Это, граждане, просто эпидемия самоубийств, волна упадничества, захлестнувшая часть нашей молодежи: романсы, гитары, – словом, «есенинщина...» Так Прахов в мыслях нагонял бескорыстно строки” (И. Эренбург, *В Проточном переулке*).

В литературе 20-30-х гг. отмечено злоупотребление газетными формулами как характерная особенность публичной речи людей разных поколений.

Как писал Ф. Крюков в очерке *Новое*, “не малого удивления достойно, что «страна великого молчания» ныне без удержу говорит, говорит и говорит”.

Литература 20-30-х гг. отразила, с одной стороны, борьбу с языком в публичных выступлениях (М. Зощенко *Обезьяний язык*, Л. Сейфуллина *Инструктор красного молодежи*), с другой стороны, протест против уже сложившихся штампов публичного красноречия. Публичная речь в разных ее проявлениях изображается и оценивается как речь ритуальная, уложенная в прокрустово ложе композиционных и фразеологических схем:

“Речи были заранее известны, они скорее являлись этикетом процесса, нежели его живой частью. Все, например, знали, что общественный обвинитель будет настаивать на «высшей мере», ввиду злокачественности преступления, отсутствия раскаяния, партийности, понимаемой, как выгода, будет говорить о чистоте революции и о необходимости радикальных мер. Знали наперед и речь правозащитника, с беспрестанными возвратами к ордену и «Скутари», ссылками на пролетарское происхождение и с методически задушевными просьбами о снисхождении. В этой торговле за человеческую жизнь, кажется, никто не был заинтересован. Громкие слова, вроде «чести революции» или «пролетариата, который не мстит», произносились тихо, вяло, как будто говорившие чувствовали их ненужность и неуместность” (И. Эренбург, *Рвач*).

И газетная, и публичная речь изображается как речь непонятная, как речь, чуждая тем, кто ее воспринимает. Как непонятные оцениваются и

отдельные слова. В рассказе С. Заяицкого *Судьбе загадка* два человека по-разному воспринимают слово *кормило*:

“Пятнадцать лет тому назад, товарищи, в этот самый день царские палачи и акулы мирового капитала расстреляли русский пролетариат. Теперь сами, однако, рабочие и крестьяне взяли в свои руки кормило...”

Далее не слышно стало по причине вьюги [...]

– Кормило взяли? Это что же такое?

– Кормить тебя будут, дяденька, шоколадными конфетами”.

Публичная речь, как бы она ни оценивалась, изображается пунктирно, одними ключевыми словами и фразеологизмами:

“Все было мудро и просто:

– Красная армия – защитница трудящихся... Наши враги – кулаки, помещики и капиталисты... Беспощадно... Долг... Красное священное знамя. ... Долой. Да здравствует. У кого есть вопросы, товарищи?” (А. Веселый, *Россия, кровью умытая*);

“...попились слезливые воззвания, подкрепляемые громовыми приказами. Волкомам, комбедам, сельсоветам срочно. Дезертир, вернись!.. Дезертир – изменник революции! Смертельный удар!.. Позор!.. Белые банды!.. Кровожадная свора помещиков и генералов!.. Позор!.. Все виновные, суровое наказание, вплоть до конфискации движимого и недвижимого имущества” (А. Веселый, *Россия, кровью умытая*);

“В дальние углы манежа слова падали обрывками: – Железный удар... Орлята пролетарской страны, вы еще не совсем оперились... летите из вашего гнезда. Любовь и надежда всех угнетенных, всех трудящихся масс с вами... Враг силен. Уже орды подкатываются к сердцу Советской страны... хищные когти протянулись... разорвать знамя коммуны... Вперед, орлята! Мы будем бить врага его же оружием” (Б. Лавренев, *Польнь-трава*).

Литература 20-30-х гг. отмечает как одну из особенностей партийной пропаганды – недоступность ее тем, к кому она обращена и на кого рассчитана и соответственно непонимание ее слушателями и читателями. Один из персонажей Ивана Катаева комментирует лозунги, характерные для времен коллективизации:

“Нельзя же все в одну дудку дудеть: «Граждане, мол, коллективизация сельского хозяйства – верный путь к социализму, гоните в шею кулаков и подкулачников, не слушайте их злобной клеветы, стройте новую светлую жизнь...» Это уже все слышали двадцать раз, это на кумаче да на бумажных лентах по всем стенам написано... Нет, ты выложи теперь точные данные, растолкуй, как будет налажено хозяйство, какие у кого права и обязанности, обрисуй каждую мелочь. ...Агитатор же сам в этих вопросах точно в лесу. До всего приходится доходить

своим умом. В газетах или не о том пишут, о чем надо, или понапустят такого туману, что еще хуже запутаешься" (И. Катаев, *Двое*).

Образец такого "тумана" – директива, вызванная к жизни статьей Сталина *Головокружение от успехов*, в *Котловане* А. Платонова:

"отмечались маложелательные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии: кроме того, назначалось обнаружить выпуклую бдительность актива в сторону среднего мужика", "по последним материалам, имеющимся в руке областного комитета, – значилось в конце директивы, – видно, например, что актив колхоза имени Генеральной Линии уже забежал в левацкое болото правого оппортунизма"; "Организатор местного коллектива... нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, объективный враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства навсегда".

Платонов открыто издевается над директивой, прибегая к реализации политических метафор (*откос* – уклон).

В *Поднятой целине* М. Шолохова статья Сталина отчасти процитирована и прокомментирована Макаром Нагульновым, также прибегающим к реализации метафоры:

"Кому нужны эти искривления, это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов: к чему они могут привести, эти искривления? К усилению наших врагов и развенчанию идей колхозного движения. Не ясно ли, что авторы этих искривлений, мнящие себя «левыми», на самом деле льют воду на мельницу правого оппортунизма? Вот и выходит, что я перво-наперво – декретный чиновник и автор, что я развенчал колхозников и что я воды налил на правых оппортунистов, пустил в ход ихнюю мельницу".

Как "безъязычие" в 20-30-е гг. оценивается и невладение готовыми формами публичной речи и злоупотребление этими готовыми формами:

"Первым выступал Пестряков, секретарь, говорил длинно, обычно: «И вот, товарищи, мы все, товарищи, должны всемерно... Нечем говорить, совсем нечем, нет языкового материала, агрикультурных терминов, нет и понятий, плотно сросшихся с единичным, виденным воочию. Надо сеять, надо засеять в срок, первая волна пятилетки, остатки недобитого кулачества. Не шпарить же этими просторными фразами» (И. Катаев, *Встреча*);

"Молодость в молодом Хибиногорске моложе всякой другой. Но вот на пионерском слете выходит девочка из совхоза «Индустрия» и начинает тараторить тоненьким голоском:

– Прорабатывая итоги пленума... Мы должны со всей ясностью осознать... Текущий момент требует..." (И. Катаев, *Ледяная Эллада*).

В литературе 30-х гг. появился как тема протест против злоупотребления высокими словами, против ложного пафоса:

"Куда ни глянь, куда ни повернись, кого ни послушай, кто бы что ни делал, – все делают только лучшее в мире. Лучшие в мире архитекторы строят лучшие в мире дома. Лучшие в мире сапожники шьют лучшие в мире сапоги. Лучшие в мире поэты пишут лучшие в мире стихи. Лучшие актеры играют в лучших пьесах, а лучшие часовщики выпускают первые в мире часы.

Уже самое выражение «лучшие в мире» стало неотъемлемым в словесном ассортименте каждого болтуна на любую тему, о любой отрасли работы, каждого партийного аллилуйщика, каждого профсоюзного Балалайкина. Без «лучшего в мире» они слова не скажут, хотя бы речь шла о сборе пустых бутылок или налоге на собак" (М. Кольцов, *Похвала скромности*).

Возникает и полемика со злоупотреблением "высокими" словами, газетными формулами, которые оцениваются как не выражающие сути явления:

"...Беззаветно проливая свою кровь... не шадя сил... мы скажем акулам-интервентам... в очищенных от белогвардейцев районах... воля трудящихся масс... – кричал инструктор, – ...идя от победы к победе... сбросили в море врага... пришло время самим ковать свою судьбу"... «Вот именно, что не пришло, а надо еще биться, и много биться за это», – неодобрительно подумал Алеша" (А. Фадеев, *Последний из удэге*).

Употребление высоких слов уже специально оговаривается и мотивируется:

"Нужно было обладать почти мужеством, чтоб начать с той же фразы, какую злоупотребляли в своих речах все ее современники, – большие и маленькие, честные и лживые, слепые и достаточно зрячие – чтобы проследить разбег великой идеи в будущем. В ее устах это прозвучало, как ведущая формула века:

– Мы призваны работать в радостное и прекрасное время, добрые товарищи мои..." (Л. Леонов, *Дорога на океан*);

"Ты знаешь, я часто думаю – в какое великое время мы живем! *Это не слова из газет, но мое чувство*" (И. Эренбург, *День второй*).

Литература 40-х – первой половины 50-х гг. вбирает в себя газетные формулы и использует их как прямое авторское слово. Новая вспышка полемики с газетными штампами падает на вторую половину 50-х – 60-е гг.

Стереотипные газетные заголовки, примелькавшиеся начала статей, шаблонные приемы их построения, стандартные фразы и сцепления слов дают богатую пищу писателям. Неоднократно осмеянный в сатире и юмористике, газетно-публицистический штамп осмеивается и в серьезной литературе.

Газетно-публицистический стиль, важное средство изображения действительности в плохой литературе, – сам становится предметом изображения художественной литературы. Он предстает как круговращение графаретных словосочетаний, конструкций и приемов.

В первую очередь внимание обращается на те качества газетно-публицистической речи, которые делают ее неубедительной, лишают силы воздействия на читателя: ее однообразие, обезличенность, пристрастие к банальным красотам.

“Твоя газета тем и плоха, что прочитав одно слово, знаешь, какое следующее. Если Грузия, то солнечная, если боец, то доблестный, если...” (Ф. Вигдорова, *Семейное счастье*).

Небольшая коллекция постоянных “сращений” собрана в рассказе Г. Рыклина *Совещание имен существительных*:

“Я, например, всегда бываю неизгладимое. Неизгладимое впечатление.

– А я всегда меткая, – сказала Пуля.

– А я упорная, – сказала Борьба. – Чудесная характеристика, что и говорить! Но нельзя же всю жизнь одно и то же!..

– А обо мне и в дождь и в стужу обязательно пишут, что я прекрасное, – сказал Утро.

– Сколько рассказов, очерков, корреспонденций начинаются с фразы:

«В одно прекрасное утро...!» Еще Антон Павлович Чехов использовал эту ходкую фразу в ироническом смысле. Его рассказ *Оратор* начинается так: «В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова...»

– А обо мне, – улыбнулся Полдень, – неизменно пишут, что я ясный. Ясный полдень. Коротко и ясно!

– А я сизая в любую погоду, – заявила Дымка.

– А нам на двоих, на меня и на Образ, выдали одно прилагательное, – грустно сказал Факт. – Вы его хорошо знаете: это прилагательное – яркий. Яркий образ. Яркий факт. Так и ходим со столбца на столбец, сияя своей яркостью” и т.д.

“Отвлекая одно качество и делая его всеобщим, штамп словно бы исключает возможность всех иных качеств и тем самым упрощает явления жизни, делая их похожими и однообразными. «В газетах всегда пишут, будто это такой счастливый

день, когда в первый раз отводишь своего ребенка в школу. Почему же она не радуется?» (Ф. Вигдорова, *Семейное счастье*).

Свежий, “наивный” взгляд со стороны улавливает за принятыми и освященными традицией условностями стиля противоречие здравому смыслу и логике:

“А потом Губин накропал что-то крайне розовое о ходе строительства корпусов больницы... и уже вредно наврал про сроки, в которые новые здания «гостеприимно распахнут свои двери навстречу...»”

“Я, конечно, не сочинитель, но тебе не кажется, что по поводу больницы глупо писать «гостеприимно распахнут свои двери». Что за гости в больнице?”

– А почему больница – это “подарок трудящимся нашего города”? – вдруг спросил Устименко. – Кто им дарит?

– Товарищ Сталин!

– Сталин? – удивился Устименко. – Что, у него других дел нет, как нам больницу дарить?

– Дурак ты, – вздохнул Губин. – Дурачок! Существует официальный стиль: например, когда Первого мая хорошая погода, то мы, журналисты, пишем: «Казалось, сама погода понимала» и так далее. А когда бывает плохая, то мы непременно пишем: «Несмотря на то, что погода... тысячи трудящихся». Понял?” (Ю. Герман, *Я отвечаю за все*).

В поле зрения писателей попадают композиционные штампы:

“Наша газета «Колхозная искра», один листок, две неширокие полосы, всегда появлялась в срок, в должной мере освещала весной сев, летом сеноуборку, осенью уборку хлебов, а зимой ремонт тракторов, лесозаготовку, подготовку к севу. В ней регулярно сообщалось обо всех конференциях, совещаниях, сессиях, время от времени, не слишком часто и не слишком редко, помещались обзоры международного положения. Для всякого материала была установлена строгая форма. Одни статьи начинались со слов: «В неустанной борьбе за высокие показатели...». Другие: «Наряду с достигнутыми успехами в ряде случаев...» (В. Тендряков, *За бегущим днем*).

Точно так же развенчиваются разнообразные штампы других стилей, которые притягивает к себе публицистический стиль. В основном это красивые банальности, трафаретные сигналы “образности” и художественности, призванные расцветить повествование:

“Женам нравилось, когда про мужей Бор. Губин писал, что они «чудо-богатыри земли», матери радовались, когда читали о своих дочках, что такая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Для художественности Губин иногда писал: «здоровый запах пеньки», или «раньше, когда тут были волоковые окошки, из

которых мир являлся безрадостным и лишенным красок», или «цветет на болоте скромный красавец сусак»... (Ю. Герман, *Я отвечаю за все*);

“Жарко дышат надвигающиеся пески... Вспыхивает зарево степных огней, слышатся незнакомые мелодии. Это просторы неведомой земли... И еще и еще строк на двести этих «степных огней», «волшебных мелодий», «рукопожатий земле». После того, как я опустил газету, у меня было такое чувство, словно я напился касторки с сахарином” (Ю. Домбровский, *Хранитель древностей*).

Другая, не менее важная проблема – внешняя убедительность речи при внутренней ее несостоятельности. Пишущий идет не от жизни, не от конкретных фактов, а от заранее заданной схемы, от предвзятого мнения и втискивает жизнь в эту схему, по ходу дела отбрасывая все, что в нее не ложится, то есть изображая жизнь односторонне. Сложное сводится к простому, запутанное – к прямолинейному, многозначное – к однозначному. Убедительность достигается не анализом фактов, а категоричностью тона и подчеркнутостью, обнаженностью экспрессии – штамп, если он что-то оценивает, не знает полутонов и оттенков, он категоричен.

“В том, что писал Одноруков, не было ни слова прямой лжи и в то же время это была самая злая неправда... Обстоятельства перехода двести второй на отдельную стоянку были изложены с таким дьявольским умением, что при беглом чтении (самый распространенный способ!) могло показаться, будто дело и впрямь нечисто. Поначалу Митя был просто ошарашен... но постепенно он успокоился и даже начал постигать секреты одноруковского творчества: к сложнейшим явлениям, требующим всестороннего и гибкого анализа, Одноруков подходил с жестким инструментом формальной логики, там же, где этот инструмент был действительно применим, привлекались на помощь все богатство и вся необузданность диалектики. Выражаясь фигурально, товарищ старший политрук измерял звездное пространство складным аршином и умножал два на два при помощи высшей математики” (А. Крон, *Дом и корабль*).

Речь внутренне несостоятельна, но внешне убедительна, а поскольку рассчитана она на людей неосведомленных, на беглое слушание и беглое чтение, она достигает цели.

Слово, оставаясь убедительным, смещает при этом реальные контуры жизни – все правда и все неправда, – мешая понять истинную сущность фактов, явлений, вещей, характеров. В обоих этих случаях слово отражает действительность неточно, поверхностно, приблизительно.

Писатели не ограничиваются ироническими выпадами против газетно-публицистической речи. Рассуждения о ее выразительных

возможностях, которых так много в литературных произведениях того времени – не просто отвлеченные рассуждения. Это своеобразная подготовка к следующей ступени в отношении к штампу – к проверке его возможностей на практике. Писатели используют опыт публицистики – шаблонные словосочетания, накопленные газетой, устойчивые приемы изображения действительности, но используют как опыт отрицательный, нуждающийся в пересмотре и переоценке.

“Язык, – как писал Э. Сепир, – не только соотносится с опытом или даже формирует, истолковывает и раскрывает опыт, но часто он замещает его”¹. В какой-то момент слова могут оторваться от опыта, встать над ним, параллельно ему и зажить самостоятельной жизнью. И нужно усилие, чтобы посмотреть на вещи непосредственно, разорвав пелену слов. Это и происходит в тех случаях, когда писатели сознательно отталкиваются от трафарета, выработанного газетным опытом, отвергая его как препятствие на пути к познанию жизни.

В этих случаях художественное произведение свободно от всепоглощающего, всеобъемлющего влияния публицистической речи. Но внутренняя зависимость от публицистики, внутренняя связь с ней остается. Связь,¹ продиктованная полемическими целями, переосмысленная и осознанная как художественный прием. Точка зрения публицистическая присутствует и в этих произведениях, но уже не как единственно возможная, а как одна из возможных: писатели сопоставляют или противопоставляют два способа освещения одних и тех же событий, фактов и людей и соответственно два способа истолкования действительности.

“Забавное дело, когда поднимаешь ловушку для сайры и тебя обливают с ног до головы, а в лицо сечет разная снежная гадость, в этот момент ты ни о чем не думаешь, или думаешь о том, что скоро сменишься, выпьешь кофе и на бок, а оказывается, что в это время ты «в обстановке единого трудового подъема» и так далее” (В. Аксенов, *Апельсины из Марокко*).

Публицистическая точка зрения при этом уже не выражает точку зрения автора. Напротив, автор отталкивается от нее, либо опровергая, либо уточняя ее, либо иронизируя над ней, то есть так или иначе указывая на ее ограниченность или несостоятельность.

¹ Э. Сепир, *Язык*. Цитируется по книге: В.А. Звегинцев, *История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях*, часть II, с.186

Связь между публицистикой и художественной литературой обнажена и подчеркнута: во многих произведениях тех лет, как один из персонажей присутствует журналист, и сталкиваются две точки зрения на действительность: точка зрения автора или героя, который видит жизнь со всеми сложностями, скрывавшимися за благополучной внешней оболочкой, и журналиста, видящего ту же жизнь сквозь покров чужих слов и навязанных представлений. А если произведение основано на субъектной многоплановости, то штамп – одна из призм преломления действительности.

В рассказе И. Грековой *За проходной* жизнь физической лаборатории показана с разных точек зрения – изнутри и со стороны, с точки зрения газетного корреспондента. Мир этот, и люди, и их работа, и их поведение, и их речь, и вся обстановка для него странны, непонятны, загадочны. Именно острое ощущение непонятности, необычности все время преследует его. Но когда он берется за перо, действительность на глазах превращается в газетный штамп.

Пейзаж – у автора: “Глубокая осень. Глубокое уныние размокшей неприбранной окраины... Вдоль трамвайных путей – тоненькие, в палец, деревья, высаженные в порядке озеленения, мокрые, в начальных каплях. На каждом – один-два уцелевших черно-коричневых листа”. Тот же пейзаж – у корреспондента: “хмурый октябрьский денек. Деревья уже растеряли свои листья. На улице пасмурно”. С одной стороны, точность и резкость деталей, с другой – их приблизительность, сглаженность. С одной стороны – четкость эмоционального отношения, нагнетение, сгущение экспрессии, с другой – приблизительность, противоречивость эмоции – эпитет *хмурый* никак не согласуется с игривым *денек*.

Руководитель лаборатории Лагинов – такой, каким видит его журналист: “Еще не старый человек, с малиново-красным лицом, с алюминиево-седыми короткими и густыми волосами... притихший... усталый, очень немолодой, очень несчастливый человек... тяжелая голова, глубокие малиновые морщины и свежие голубые глаза... яркие младенческие глаза... усталое лицо”.

Повторение бросающихся в глаза резких внешних признаков и подчеркнутый их контраст (*усталое лицо – младенческие глаза*) передают внешнюю необычность человека, которая соответствует экстравагантности его поведения, его внутренней необычности. Тот же Лагинов, такой, каким рисует его корреспондент: “Профессор уже

не молод, но его глаза светятся юношеским задором, неумной энергией”. Стандартный портрет, к тому же искажающий действительность: *притихший, усталый – неумный задор*.

Еще большей трансформации подвергается речь действующих лиц, которые по воле корреспондента говорят то, что нужно ему, а это совсем не похоже на то, что было в действительности. “Нам, советским ученым, предоставлены все творческие возможности... Только твори, только дерзай”, – говорит Лагинов в статье. “Многое меняется. Мир становится неузнаваемым. Но не более ли удивительно другое? Не то, что меняется, а то, что вечно. Человек с его потребностями... Человечность... Любовь...”, – говорит живой Лагинов, приоткрывая дверцу в свой внутренний мир.

Корреспондент пишет по правилам, он знает правила назубок, пишет “быстро, технично, почти без помарок”, и под его пером индивидуальное сглаживается, необычное и загадочное становится банальным, жизнь искажается в соответствии с “бодряческими” воззрениями корреспондента, теряет краски и реальные очертания и, наконец, вовсе исчезает под покровом приблизительных слов, нанизанных по инерции. Писания журналиста в рассказе И. Грековой – обобщенный условный фон, на котором контрастнее проступает индивидуальность авторского восприятия и изображения действительности.

Схематизируя и обобщая, штамп обедняет, обескровливает или приукрашивает жизнь, отрицает противоречия, а иногда и самую возможность их существования. Приукрашивая детали, он может полностью извратить смысл события и сущность человека.

Молодой журналист написал очерк *Подвиг на заре*. Его комментирует очевидец события (И. Зверев, *Рассказ бывшего щенка*): “Подлая пакость: ради треклятой липы людей послали в горячий котел. Совершать подвиг, как вы изволили выразиться”. Журналист видел то же самое, а увидел то, чего требовали газетные штампы, навязанные представления: “Я с ужасом вспоминал куски, написанные вот этой рукой: Беспечно отмахнувшись от сгрудившихся плакальщиков, герои надели ватные костюмы, ушанки, напялили по две пары рукавиц и полезли в пекло. Есть суровое слово «надо». Не о нем ли думали они в ту горячую минуту”. Это написал я! Я, слышавший, как честные “плакальщики” орали на “симпатичного

Фокина”, я, видевший, с какой неохотой напяливали валенки хмурые дядьки, когда они лезли в горячее нутро котла...”

В полемику вовлекаются и шаблоны других стилей, содержащие условно-романтические, односторонне-красивые представления о жизни. “Заполярье. Как красиво башнер рассказывал об Арктике. «Арктика – это пурпурное незаходящее солнце; это брильянтовое северное сияние; это быстрые, как ветер, северные олени», – так говорил башнер. Ему бы только стихи сочинять...”

Он, Бояриков, узнал, что такое Арктика, когда завербовался шоферить на Колыму. Арктика – это отсыревшие спальные мешки, месяцами не стиранное белье, заросшие клочкастыми бородами рожи. Арктика – это пронизывающие туманы летом и вой пурги черной полярной ночью. Вот что такое Арктика” (В. Конецкий, *По сибирской дороге*).

Литература 50-60-х гг. поставила под сомнение и самый принцип изображения человека при помощи казенных штампов, отвергла подробно разработанный стандарт, который упростил представление о человеке, свел образ к нескольким необходимым слагаемым: производственные показатели, внешность, краткая биография, мысли по поводу своей работы – и фактически изгнал человека как личность, как нечто неповторимое, отбросив все индивидуальное во имя безлично-общего.

Развенчиваются устойчивые штампы, при помощи которых рисуется внешность человека: *сивые усы, мужественное лицо, ранняя седина глаза, блестящие молодым задором, глубоко запавшие, усталые и думающие глаза* (Ю. Герман), *озорные, с улыбчатой хитринкой глаза, ее прищуренные, с лукавинкой глаза* (И. Зверев), “он отметил в памяти сивые усы мастера, которые, чего уж никак не подозревал Семен Григорьевич, очень хорошо ложились в очерк: мастер мог задумчиво теребить их, а то и улыбку в них прятать, смотря по обстоятельствам очерка” (Б. Бедный, *Старший возраст*).

Портрет рисуется при помощи открытого противопоставления газетного штампа и действительности: “Архипов записал, что... лица у рабочих мужественные. А у парня, что стоял, облокотившись на порванные бортовые поручни, лицо было румяное, нежное” (Л. Жуховицкий, *Чужой риск*); “Шеф смерил нахального Нечитайлу ледяным взглядом (этот взгляд под наименованием «теплого», «лучистого», даже «согревающего душу» не раз упоминался в

различных сочинениях и был отображен на полотне, где известный художник увековечил шефа со всеми орденами” (Ю. Герман, *Я отвечаю за все*).

Эффектные книжные и газетные штампы нарочито снижаются: “Он еще молод, этот парень. И не знает, что скоро – через неделю, через две – начнет седеть. Не романтически, в одну ночь, а постепенно, медленно, буднично. Это не будет похоже ни на серебро, ни на снег. Просто в черных волосах пыльно засветятся седые. И девушки, жестокие по молодости, станут его дразнить ранней сединой” (Л. Жуховицкий, *Чужой риск*). Для сравнения – без иронии, без снижения: “...в черных вихрах густо проступили серебряные нити – за одни сутки поседел Груздев” (А. Коптяева, *Дар земли*); “По влажным, в росинках испарины вискам разбежались частые лепестки червленого серебра ранней седины” (И. Сибирцев, *Крутизна*).

Подобные же устойчивые штампы были разработаны для передачи мыслей и чувств “изображаемого объекта” и также иронически переосмысливаются. “В очерке все выглядело в конечном счете так: «В эту торжественную минуту старому прорабу невольно вспомнилось». И далее перед ним проходило босоное детство, служба в Первой конной или на линкоре *Марат*, встреча со знатным металлургом Коробовым и т.д. А под конец я давал боевой эпизод: «Видите, – застенчиво улыбаясь, сказал старый прораб, – Вот эта деталь с виду обычная, а сколько с ней повозиться пришлось...» Потом я, как взыскательный художник, заменял слово «повозиться» на «поколдовать», а Алтухов уже в полосе дописывал к слову «торжественный» еще слово «знаменательный»” (И. Зверев, *Рассказ бывшего щенка*).

Штампу внешности, штампу биографии соответствует и штамп характера: “Из газеты Матушкин узнал также, что он «жадный до работы, всегда подбодрит добрым словом товарища и непримирим там, где дело касается трудовой чести бригады»” (Е. Шатько, *Зной*).

Газетный ярлык и человеческая судьба – тема, к которой часто обращались писатели 60-х гг. Показывая одних и тех же людей в двух зеркалах, они противопоставляют живую жизнь схеме. Публицистический штамп для писателя – исходная точка, отправной пункт для дальнейшего исследования жизни и человеческого характера. Писатель начинает там, где журналист ставит точку.

Полемика с газетно-публицистическим штампом может развертываться в пределах целого произведения, композиционно организуя его.

Настя Сыроегина (В. Тендряков, *Поденка – век короткий*), по газетной терминологии – “знатная свинарка”, “гордое знамя колхоза”, “знамя области”. На самом деле, это женщина, которая однажды вступив на путь обмана и этим обманом завоевав себе счастье и славу, все больше запутывается и заходит в полный тупик, приходит к острому нравственному кризису. В повести постоянно чередуются два контрастных плана – лучезарный покров поверх действительности, который создают разные корреспонденты, фотографы, председатель колхоза и сама Настя, и действительное неблагополучие. Параллельно с нарастанием газетной славы и газетного благополучия нарастает неблагополучие действительное. Параллельно с газетными образами *гордое знамя, знатная свинарка*, которые варьируются на протяжении всей повести, окрашиваясь в разные тона и к концу все больше насыщаясь горечью и иронией, которую усиливает игра на разных значениях слова (“у знатной свинарки знатная прореха”), развиваются другие, контрастные образы, “Настя-поденка”, “фальшивый камушек в дорогой оправе”. Газетной фразеологии – *показатели, достижения, рекорды* противостоит образ “мертвых душ” (вариации на гоголевские темы в современных условиях – Настя выдает мертвых поросят за живых).

Полемическая задача решается в рассказе В. Войновича *Хочу быть честным* – показать, что скрывается за газетным штампом, раскрыть внутреннюю сущность, психологические мотивы поступков, которые нередко описываются в стиле сочинений корреспондента Гусева: “Там был напечатан очерк под рубрикой *Герои семилетки*. Очерк назывался *Принципиальность*. Начинался он так: «В тресте Жилстрой все хорошо знают прораба Самохина. Этот высокий широкоплечий человек с мужественным лицом и приветливым взглядом пользуется уважением коллектива. Наш Самохин – говорят о нем любовно рабочие»”.

Сочинение корреспондента Гусева само по себе – пример откровенного и беззащитного штампа. Но в рассказе В. Войновича оно приобретает другой смысл: одновременно существуют два образа одного и того же человека, сопоставляются две точки зрения на жизнь, одна, основанная на стремлении понять жизнь такой, как она есть, и другая – обезличивающая и исправляющая реальность.

Разное освещение одних и тех же событий, разные точки зрения сталкиваются и в повести В. Войновича *Мы здесь живем*. Одна, газетная, содержится в писаниях плодовитого неудачливого поэта Ильи Бородавки: “Сегодня в наше село Поповка прибыл молодой поэт. Он охвачен патриотическим подъемом убрать казахстанский миллиард”.

Другая – условно-романтическая – выражена в стихах и репликах “молодого поэта” Вадима Корзина.

“Вторую неделю идет дождь... Дует ветер. В палатке сыро и холодно.

– Сашка, как ты думаешь, в этом, наверное, есть своеобразная романтика?

Это спрашивает Вадим:

– Что? Романтика? – Гошка долго не может сообразить, в чем дело.

– Не знаю, Вадим.

– Ну, а зачем же мы тогда сидим?

– Ну как? Ну... нужно так, вот и сидим. Урожай кому-нибудь надо собирать”.

Обе эти точки зрения, так сказать, – взгляд со стороны, взгляд людей, которые подходят к жизни с готовыми мерками. Ни Бородавка, ни Корзин не видят за словами реальной жизни и теряются от того, что жизнь решительно не укладывается в их мерки (“Захотел я описать нашего председателя, какой он есть. Ну и пишу: «Высокий, стройный, с умным взором в глазах». Он, может, и высокий, да толстый, как беременная баба. Какая уж стройность, не получается, да и все”). Третья точка зрения – точка зрения тех людей, которые видят и принимают жизнь такой, какая она есть, ничего не сглаживая и не приукрашивая. Штамп осмысливается и присутствует в произведении как одна из точек зрения на действительность, но как точка зрения суженная и потому неверная.

В повести Борщаговского *Любовь Петровна, Сергей Иванович* шаг за шагом прослеживается, как переосмысливаются все детали поведения героя, как образ его укладывается в прокрустово ложе “запланированных восторгов”, как все глубже становится разрыв между тем, что было на самом деле, и тем, что кажется корреспонденту. В повести возникают два образа Панина – тот, что живет в сознании его жены, и тот, что создан воображением журналиста, и соответственно два истолкования его поступков, его характера. Панина, читая очерк Соковнина, испытывает странное чувство: “она прожила каждую строку, прожила совсем не так, как здесь написано, и ужасно похоже”.

“И вот в комнату вернулся Панин – не иссохший, измученный болезнью человек, который до конца так и не поверил, что недуг может его сломить, и, порой, забыв, что жена дома, пытался встать и каким-то одним нечеловеческим усилием стряхнуть с себя болезнь; не послевоенный Панин, пристрастившийся к пиву и чужим прописным фразам; даже не тот Панин, что на носках, скрипя паркетом, бродил среди ночи и постанывал, подгоняя свою тяжелеющую мысль, а молодой Сергей, удачливый, поднятый, но неопьяненный успехом, ринувшийся даже в авиацию, потому что ему обязан был подчиниться весь мир металла, машин и конструкций”.

То, что должно быть, побеждает и заслоняет то, что было на деле. Тема углубляется от того, что газетно-публицистический штамп введен в произведение не только как более или менее безличная точка зрения (обычно писателей мало интересует фигура корреспондента самого по себе, он чаще всего носитель стандартно-газетного взгляда на жизнь), а как форма личного отношения к миру, личного его осознания.

Сопоставление двух разных точек зрения на действительность, изображение жизни в двух ракурсах – обычно сопоставление видимости, кажимости и сущности.

Полемика со штампом в изображении жизни и человеческого характера – не только внутренний стержень произведения. Она обращена и вовне. Хотя ближняя, непосредственная ее цель – штамп газетный, в то же время это полемика с односторонним схематичным плоскостным изображением человека, с приукрашиванием, “лакировкой действительности”; полемика с книгами, сводящими роль литературы к иллюстрированию, подтверждению газетных лозунгов и призывов. Постоянно оглядываясь, ориентируясь на газетно-публицистический штамп, литература стремилась уйти от его влияния.

The Interpretation of Newspaper and Public Speech in Soviet Literature

In this article we describe the problem of influence of widely spread newspaper and public speech cliches over the style of Soviet literature.